

Василий Брусянин

Давыдка



Василий Васильевич Брусянин
Давыдка
Серия «В стране озёр»

Аннотация

«Все звали его пренебрежительным именем «Давыдка», но никому бы не пришла охота принизить его этим именем.

Что-то печально-убогое было в этом человеке, который и улыбался-то какой-то особенной болезненной улыбкой, никогда не шутил, никогда не казался счастливым, хотя себя он и считал счастливейшим человеком из смертных.

– Давыдка живёт... Еге!.. Живёт!.. Нишего, – часто говаривал он...»

Василий Брусянин

Давыдка

Все звали его пренебрежительным именем «Давыдка», но никому бы не пришла охота принизить его этим именем.

Что-то печально-убогое было в этом человеке, который и улыбался-то какой-то особенной болезненной улыбкой, никогда не шутил, никогда не казался счастливым, хотя себя он и считал счастливейшим человеком из смертных.

– Давыдка живёт... Еге!.. Живёт!.. Нишего, – часто говорил он.

И это «нишего» звучало каким-то особенным тоном, как будто в этом слове включена вся мудрость жизни.

Давыдка очень любит русскую водку и за самый крошечный флакончик «казёнки» готов сделать всё, что бы ему ни приказали. Просить Давыдку как-то не принято, ему только приказывают, и он всегда охотно всё исполняет.

– Давыдка, да, ведь, ты умрёшь, если будешь так много пить, – скажет, смеясь, Давыдке кто-нибудь из обитателей пансиона, вовсе не озабоченный тем, чтобы Давыдка долго прожил.

А Давыдка улыбнётся своей грустной улыбкой и скажет:
– Нишего!..

Всё своё существование, всё своё прошлое Давыдка продал обстоятельствам жизни за весьма дешёвую плату. Полю-

бил он русскую водку и спился. Пить он научился в Кронштадте, куда в былые времена ездил на заработки по зимам. Там же, в этом городе-крепости, научился говорить по-русски, там же потерял и свою жену, и детей.

Жена и дети оставили Давыдку в самый тягостный период его жизни, когда земля и лес, принадлежавшие ему, уже были проданы русским дачникам, и когда у Давыдки осталась только крошечная усадьба, где он живёт и до сих пор. Дети остались в Кронштадте с женою, а когда подросли – перебрались в Петербург, пристроившись на заводах и в мастерских.

О своей семье Давыдка не любил говорить. Спросят его:

– Где твоя жена, Давыдка? Где дети?

Пожмёт плечами хмурый финн, улыбнётся по-своему грустно и ответит:

– Петербург пошла.

– Что же они там делают?

– Живут. Еге!.. Богато живут.

При этом Давыдка начнёт рассказывать о том, как хорошо живут его жена и дети, и, конечно, врёт. Люди, не знающие подробностей жизни Давыдки, верят ему, а те, кто знал правду – только посмеиваются.

Как-то раз жена Давыдки, толстая Хильда, вздумала побывать на родине. Остановилась она у родственников в подгорной деревушке у озера и надумала навестить мужа.

Подошла Хильда к усадьбе Давыдки, издали посмотрела на его ветхую избу с дырявой кровлей и с позеленевшими

оконцами, но в обиталище сбившегося супруга зайти не решилась. Сердце женщины заныло при виде разрушающейся усадьбы, но что же она могла сделать? Обошла Хильда вокруг усадьбы мужа, покачала головою, точно вспоминая что-то, и отошла прочь.

Подивились соседи на гостью из Петербурга, а кто-то сказал:

– Давыдка у кузнеца работает. Хочешь, Хильда, его увидеть?

– Что мне на него смотреть-то? Посмотрела.

И приезжая женщина повела рукой в сторону Давыдкиной усадьбы и добавила:

– Довольно, и это увидала.

И ушла, пряча от людей наворачнувшиеся на глаза слёзы...

Узнав о возвращении жены, Давыдка захотел повидаться с Хильдой, но он как будто побаивался этого свидания. Торопливо смыл с лица и рук копоть и сажу от кузнечной работы, надел лучшую рубаху и штаны и пошёл к родственникам жены на озеро.

В дом войти не решился, а спрятался за толстыми стволами рябины и издали посматривал на коричневые наличники на окнах дома у самого озера. Так он простоял час или два, но всё же дождался, чего хотел. Как только из ворот домика у озера показалась бричка, в которой сидела его жена, одетая по городски, Давыдка бросился вдоль пыльной дороги и закричал:

– Хильда! Хильда! Я... Давид!.. Тут.

Посмотрела на него Хильда равнодушными глазами, но всё же попридержала лошадь, натянув вожжи в руках брата, который отвозил её до ближайшей станции.

Объяснения между супругами в этот момент не произошло. Давыдка потянулся к жене с рукой, и та подала ему свою. Давыдка улыбнулся кривой улыбкой, и жена ответила ему улыбкой, но что это была за улыбка? Плохо смыл Давыдка с лица сажу, и это рассмешило городскую женщину.

– Хильда!.. Хильда!.. – начал, было, Давыдка, но Хильда только презрительно усмехнулась и выкрикнула:

– Перкеля! [*фин. Perkele – Чёрт. Прим. ред.*]

Попытался, было, Давыдка, вскочить в бричку, но возница, брат сердитой женщины, пошевелил вожжами, а Давыдку даже в сторону отбросило: так стремительно понеслась по пыльной дороге маленькая рыжая лошадь.

Вечером того же дня Давыдка сидел у кузнеца Соломона, пил кофе со спиртом и бранил жену, а к ночи напился и заснул в кузнице на земляном полу.

Кузнец Соломон приходился Давыдке дальним родственником, но далеко не родственные отношения связывали их. Соломон любил дешёвый труд, а Давыдка не особенно высоко оценивал свои силы и часто работал в кузнице за обед или за ужин. Но между кузнецом и дешёвым работником было установлено постоянное и неизменное условие: два раза в день, утром и вечером, Соломон должен угощать Давыдку

кофе со спиртом.

За этот же крепкий, излюбленный в Финляндии напиток, Давыдка нередко работал у одного столяра, не отказывался копать канавы, принимать участие и при взрывах гранитных глыб, если кто-нибудь устраивал фундамент для новой постройки.

Весну и лето Давыдка любил, осень и зиму – ненавидел. Зимой ему, действительно, круто приходилось. Его изба в два окна с дырявыми рамами и с давно не отремонтированной печью плохо обогревала, а дров у Давыдки не было, потому что лес свой он давно продал. О покупке же дров Давыдка, конечно, и думать не мог. Побродит по соседскому лесу, пособирает валежника или сучьев и этим отапливает своё угрюмое и неудобное логовище. Хорошо, что соседи добрые и не отказывают и в таком жалком топливе.

В избе Давыдки пусто: две лавки, стол, кровать с перетёртой соломой и сеном и два-три горшка, в которых уже давно ничего не варилось. Пол в избе перекосялся и грозил разрушением, потолок, потемневший от времени, тоже грозил падением. Когда Давыдка ходил по избе, половицы немилосердно скрипели и точно молили хозяина – пощадить их и не ходить. Давыдка, впрочем, и не склонен был к прогулкам по избе. Уж если он возвращался домой, то только ради того, чтобы лечь и заснуть. А спать Давыдка любил, особенно после трёх-четырёх стаканов кофе со спиртом.

Года два назад Давыдка сеял картофель у себя на за-

пущенном огороде и питался этим незатейливым овощем. А потом пришёл к заключению, что заниматься этим делом не стоит, когда кругом и зиму, и лето найдётся какая-нибудь работа.

В холодные зимние ночи Давыдке приходилось покидать неотопленную избу, и тогда он шёл спать или в ригу к богатому соседу Мартину, или бродил по деревне и отыскивал, какая топилась в этот день баня, и ночевал в бане.

С соседом Мартином Давыдка жил мирно и даже в дружбе, и Мартин всегда охотно пускал Давыдку на ночлег к себе в ригу.

Бывало, только скажет:

– Давыд, трубку я с тобой не оставлю, заснёшь ещё и пожар устроишь.

Давыдка улыбался, отдавал соседу трубку и кiset с табаком и влезал в узкую дверь дымившейся риги уже совсем одиноким: к трубке своей он давно относился как к единственному и дорогому другу.

Даже нестарые люди помнят, что ещё так недавно, лет десять назад, Давыдка жил как настоящий хороший хозяин. Была у него лошадь, были коровы. На масленицу он уезжал в Петербург или в Кронштадт и здесь зарабатывал деньги, разъезжая «вейкой». Летом выправлял билет извозчика и зарабатывал, возя дачников.

Жили вместе с ним в те времена жена и дети, и так хорошо ему жилось. Но, вот, началось увлечение водкой, а потом эта

история с продажей земли. В год распродажи земли Давыдка уже улучшил своё хозяйство. Впрочем, всё это улучшение делалось руками его жены Хильды. Началось непробудное пьянство, и всё, что было приобретено ради улучшения хозяйства, пошло в продажу за бесценок. Начались семейные споры да раздоры. Ушла Хильда на зимний заработок в Кронштадт, да так там и осталась, а вскоре и детей к себе перетащила.

Давыдка жаловался и в суд, и уважаемым старикам округа, которые нередко улаживали семейные раздоры, – но из этих жалоб ничего не вышло.

– Пьёшь ты, Давыд, и образ человека утратил, как же мы будем приневоливать Хильду, чтобы она жила с тобой? – говорили старики.

– Ну, пусть возьмёт меня к себе, – возражал наивный супруг.

Старики только смеялись.

Оставшись на положении вольной птицы, Давыдка быстро промотал из хозяйства всё, что получше, и остались у него только лошадь, сбруя да бричка.

Года три он промышлял извозом, но, вот, ему стала изменять и его, стареющая с каждым годом, лошадь, та единственная его лошадь, которую он так крепко любил.

Соседи и друзья-извозчики часто ему говорили:

– Давыд, Давыд, береги лошадь. Ты совсем её не кормишь. Смотри – околеет.

– Нишего, – философски-спокойно отвечал Давыдка.

В зимние месяцы лошадь Давыдки походила на какое-то своеобразное животное, только отчасти напоминавшее о лошади. Зимой, за отсутствием дачников, извозчиков промысел падал, кормить лошадь было нечем, и бедное животное худело и ослабевало не по дням, а по часам. Оставались на месте у лошади и хвост, и грива, и голова, и ноги, но грива и хвост лезли, ноги тощали, а на спине и крупе выступали кости, обтянутый кожей с линяющей шерстью. Рёбра также напоминали обручи на бочке.

Иногда Давыдка стягивал живот лошади верёвками, чтобы меньше чувствовала его животина голод, а потом он доводил голодное животное до того, что приходилось подвешивать лошадь на верёвках к потолку сарая. Такой слабой становилась лошадь и даже стоять на ногах не могла.

Как-то в феврале Давыдка сообразил, что лошадь его до весны не доживёт. Сам он, впрочем, не додумался бы до этого, соседи раскрыли ему глаза на печальную действительность.

Пригласил Давыдка сведущего человека, коновала Лампияйна из деревни Сюккеля. А Лампияйнен посмотрел лошадь в зубы, ощупал её тощие бока и сказал:

– Умрёт!..

– Умрёт? – спросил Давыдка. – Как же это?

– А так, умрёт! Я думаю, тебе лучше поскорей продать её на мясо.

– Кому продашь? Карло не купит? – вспомнил Давыдка о местном мяснике.

– Ха-ха! – рассмеялся Лампияйнен. – Карло лошадиным мясом не торгует.

– А, может быть, торгует? – сомневаясь в своём вопросе, продолжал Давыдка.

– Да что ты глупости-то говоришь? Веди лошадь в Кронштадт, там есть татары, купят...

Повёл Давыдка свою лошадь в Кронштадт и добрался с нею по льду уже до середины залива, вдруг лошадь споткнулась на ухабе, захрипела и околела. Оставил он труп лошади на дороге, а сам дошёл до города, побыл у конского мясника и долго упрашивал последнего пойти на лёд и посмотреть товар. Но скупщик не захотел купить мёртвую лошадь, и Давыдка вернулся домой злым и разочарованным. А за этим разочарованием последовали и некоторые радости жизни, недолгие, впрочем, радости, но всё же Давыдка месяца два пожил в своё удовольствие.

Бросив холодный труп на льду залива, Давыдка сообразил, что ему теперь уже не нужны ни бричка, ни сани, ни сбруя. Заводить новую лошадь он не предполагал: и та, умершая, порядочно ему надоела, требуя ухода и забот о кормлении.

Бричку свою Давыдка продал соседу Мартину за 35 рублей, сани купил кузнец Соломон и заплатил Давыдке 22 рубля, да ещё дал мешок муки, а сбруя разошлась по деревне:

кто дугу купил, кто шлею, кто хомут.

Освободился Давыдка от ценных вещей и решил, что ему непременно надо поехать в Выборг. Он очень любил этот город, где у него были приятели.

В Выборге Давыдка прожил недели три, вернулся весёлым и пьяненьким и в тот же вечер угостил своего друга, кузнеца Соломона, хорошим коньяком.

Пили друзья коньяк, а Соломон говорил:

– Нанялся бы ты, Давыдка, ко мне в работники, да и жил бы себе. Жалованье я тебе положу хорошее.

Давыдка усмехнулся и сказал:

– В работники? Плохо ты обо мне думаешь. Слышишь?

Давыдка вынул кошелёк с деньгами и похлопал по нему ладонью: серебряные и медные монеты бряцали внушительно.

– Ни в какие работники я не пойду, – заявил серьёзным тоном Давыдка, – а вот поеду в Петербург, да и скажу Хильде: «У меня есть деньги, давай вместе жить». И сынов возьму на родину...

– Да много ли у тебя денег-то? – смеясь, перебил его Соломон.

– Много ли? Эге! Рублей двадцать пять-тридцать осталось.

– Ха-ха-ха! Да большие ли это деньги? Чу-удак.

Запер Давыдка свою пустую избу и уехал в Петербург.

О своей последней петербургской жизни Давыдка не лю-

бил рассказывать даже другу своему, кузнецу Соломону.

Из Петербурга вернулся он домой совсем разбитым и точно постаревшим. Да и было отчего постареть: Хильда не захотела с ним много разговаривать и только сказала:

– Уходи ты от меня, пьяница и мот! Без тебя проживу!..

Дети тоже встретили его не как отца, а как врага. Пропил с горя Давыдка деньги и хотел даже броситься в Неву с Александровского моста, но побоялся умереть и остался жить. Потянуло его в деревню, где всё же можно пожить в своё удовольствие. До Белоострова добрался на остатки денег, а потом километров сорок прошёл до деревни пешком.

Молодёжь посмеивалась над неудачным путешественником, а Давыдка не обижался и, смеясь, хвалился:

– Зато и пожил я в Петербурге... Ух!..

– Говорят, ты в ночлежных домах кутил? – смеялись безусые пойки [*фин. Poikia – Подростки. Прим. ред.*].

– Эге! Там, где веселился Давыдка, туда вас не пустят.

– А, говорят, ты только до Белоострова доехал, да там и остался, – шутили другие.

Давыдка старался всех уверить, что деньги прожил он, именно, в Петербурге, а Белоостров что!

Но так втайне и остались подробности жизни Давыдки в Петербурге.

Для Давыдки началась совсем уже новая жизнь. Хуже всего то, что его точно как-то не стало на свете. Ходит он по знакомым местам, встречает знакомых людей и даже с дав-

нишними своими приятелями хорошие разговоры заводить, а люди эти точно чужие ему стали.

Никто Давыдку не обижал, но так как-то чувствовалось, что между ним и остальными людьми земля провалилась, и стоит Давыдка на одном краю пропасти, а все остальные люди – на другом. Даже и друг его, кузнец Соломон, стал относиться иначе. Работу его оценивал дешевле, нежели прежде, и Давыдка теперь уже не так часто пил кофе со спиртом.

– Скуп ты стал, Соломон, – упрекнёт, бывало, Давыдка приятеля.

– Не скуп, а дела плохи стали – работы нет! – ответит Соломон, а сам спрячет от Давыдки глаза, точно боясь глянуть в лицо приятеля.

– Насчёт платы я ничего, сколько хочешь, плати, а вот... Помнишь, как мы с тобою кофе со спиртом пили? А?

– Кофе со спиртом – вкусная штука! Да только труднее и труднее стало добывать спирт-то.

И Соломон рассказал, как месяц тому назад у него на станции отобрали целую бутылку спирта и тут же на его глазах разбили склянку о рельсы.

– Кто же это? Констебль? [*фин. Konstaapeli – Полицейский. Прим. ред.*]

– Ха, констебль? Он со мной и сам не раз пил и водку, и спирт. Начальник станции, этот, молодой-то, строгий очень... Слезаю я с поезда, а у меня корзина в руках. «Что, –

говорит, – у тебя тут?». «Мясо», – говорю. И вправду, мяса в Петербурге купил. «А там что, внизу корзины?» – опять спрашивает. Пощупал рукою, перकेля, и достал бутылку, да и разбил... Вот, ведь, что вышло.

Соломон, собственно соврал, будто у него начальник станции разбил бутылку со спиртом. Он был только очевидцем такой печальной истории: бутылку со спиртом отобрали у одного извозчика, а не у кузнеца. У Соломона и во время беседы с Давыдкой был спирт, а если он и скрывал это, то только потому, что относился к другу как-то по-иному.

Скорбно было Давыдке работать у Соломона на новых условиях, но что же было делать? Надо же как-нибудь прожить зиму.

За лето Давыдка не беспокоился. Наедут дачники, займут все комнаты в пансионе, что на горе в берёзовой роще, а тогда и ему найдётся работа.

Каждое лето Давыдка состоял при пансионской кухне нечто вроде кухонного мужика. Работа была лёгкая, а пища... Пища господская, потому что с господского стола всегда что-нибудь останется. Да и так-то при пансионе всегда возможен заработок. Поможет Давыдка извозчику втащить в пансионские сени чемоданы или узлы, глядишь – барин или барыня какая-нибудь и сунет гривенник, а то и пятиалтынный.

Давыдка не любил работать за жалованье. Ему бы только сытым быть, да пить водку или спирт. А за водку он готов

сделать всё, что угодно.

Минувшей весной, в апреле, случилась с Давыдкой большая беда.

Лёг он с вечера спать в своей избе на жёсткой постели и уснул крепко. А ночью поднялась вешняя буря. Воющий ветер дул с моря, гудя в лесу и свистя около стен финских хаток. Свистел ветер и около избы Давыдки, стучался в худое, дребезжащее оконце, сдирал с кровли доски, а потом налёг своей могучей грудью на углы хаты бедного одинокого финна да и потряс до основания всю его ветхую постройку.

Рухнул потолок избы и придавил Давыдку в хате. Встали поутру соседи, глядят, – а Давыдкина изба разрушена: стены пошатнулись и дали трещины, а из развалин тянется к небу чёрная печная труба. Прислушались люди и слышат – несётся из-под развалин человеческий стон да хрип.

– А, верно, Давыдку потолком придавило, – сказал кто-то.
– Должно быть, и так.

Быстро разнеслась эта весть по деревне, и набежали к избе Давыдки сердобольные люди, и давай разбирать доски да брёвна, кирпичи да обломки старой кровли. Копаются люди в развалинах, а сами слышат голос Давыдки. Просит Давыдка помочь и молит – поспешить с освобождением его из-под развалин. Хочется и ему пожить на белом свете, а уж какая его жизнь.

Наконец, удалось освободить Давыдку из-под развалин. Встал он весь в пыли да в саже, а глаза у него стали большие

и круглые.

– Жив ли ты, Давыдка? – спрашивают его.

– Жив, жив! – отвечает извлечённый из-под обломков человек.

– Как же ты теперь будешь жить-то? Грудь-то у тебя помяло.

– Нишего... нишего...

И опять это «нишего» примирило Давыдку с новыми обстоятельствами жизни.

* * *

Помню одну белую ночь, когда Давыдка вдруг представился мне другим новым человеком. Это было в дни выборов депутатов в сейм.

На берегу озера было устроено предвыборное собрание финских рабочих и крестьян. На этом собрании, к своему удивлению, я увидел и Давыдку. Стоял он в толпе, недалеко от оратора, и внимательно слушал горячую рабочую речь.

Возвращаясь с собрания по лесной дороге, я догнал Давыдку около деревни. Шёл он медленно, и на лице его лежало утомление. Улыбнулся он в ответ на моё приветствие, поддержался рукой за козырёк фуражки и попросил папироску.

– Рубка сабыл... забыл дома, – пояснил он о своей трубке.

Шли мы медленно и, как умели, делились впечатлениями собрания. Вспоминали речи ораторов. Как оказалось, Да-

выдка – деятельный член крестьянской партии. В продолжение нескольких дней до собрания он походил на какую-то ходячую устную афишу: ходил по деревням и оповещал своих политических единомышленников о дне собрания, о месте предвыборного митинга и о том, какие приезжие ораторы будут говорить речи. Младофиннов, шведоманов и старофиннов он бранил, говоря, что люди эти никак и никогда не поймут того, чего хочет он, Давыдка.

– Кто же победит у вас в приходе? – спросил я Давыдку, когда мы прощались.

– Мы! – кратко, но вразумительно отвечал он и ударил себя рукою в грудь.

И он ушёл в полумрак белой северной ночи и унёс с собою какую-то непонятную мне «свою» веру в жизнь и победу...